

ИРИНА МОНАХОВА

ГОГОЛЬ: КОМИЧЕСКОЕ, ТРАГИЧЕСКОЕ, ГЕРОИЧЕСКОЕ

О повести “Вий”

К 160-летию со дня смерти Н. В. Гоголя

Есть в повести Н. В. Гоголя “Вий” что-то особенно притягательное, даже среди других его произведений. То ли потому, что в ней явлено столько разных ужасов, что само по себе загадочно. То ли потому, что здесь человек сталкивается с ними не в какой-нибудь волшебной сказке, а будто бы в реальности.

Но, возможно, дело не столько в этом, сколько в том, что главный герой повести (бурсак-философ, слушатель Киевской духовной семинарии Хома Брут) – уникальный по-своему среди гоголевских героев тип. Уникальный своей обыкновенностью. Таких – тьма. И, может быть, во всем творчестве Гоголя, в котором немного найдется примеров изображения “простых” людей, “из народа” (если говорить не о сказочных “Вечерах на хуторе близ Диканьки”, а о более реалистических произведениях), Хома – это как раз самый народный персонаж, самый “простой”. Действительно, даже происхождение Хома – неизвестно какое, он сирота, не знавший и не помнящий своих родителей. В этом смысле он еще более “простой” и “маленький” человек, чем, например, герой “Шинели” Башмачкин (который был сыном чиновника, хоть и бедного, и имел место службы, хоть и незавидное), или персонаж “Мертвых душ” капитан Копейкин (который имел военный чин, хотя и не помогший ему добиться от начальства положенных денег и внимания). Хома к тому же, будучи формально свободным, на деле вполне подневольный человек: сначала он зависит от ректора, который фактически распорядился его судьбой из уважения к богатому сотнику, потом – от самого сотника, в имении которого он находился под надзором его людей – местных казаков.

Обыкновенен этот человек во всем – своих достоинствах и недостатках, слабостях, склонностях, прегрешениях. Гоголь пишет о нем не как о выделяющемся чем-то из толпы герое, а как об одном из многих – как об однородной части массы, то есть бурсаков. Обыкновенность Хома помогает читателям воспринимать всё, что с ним происходит, очень живо и непосредственно, как бы соотнося, идентифицируя себя с этим героем.

В отличие от многих персонажей Гоголя, изображаемых иронически (хотя и с долей сочувствия), Хома показан более сочувственно, чем иронически (так же, как, например, герои “Старосветских помещиков”, “Тараса Бульбы”, “Шинели”). Мотивы неколебимого оптимизма и равнодушного отношения

к разным жизненным неприятностям (что очень свойственно Хоме) звучат в письмах самого Гоголя в тот период, когда он создавал повесть “Вий”. Он писал своему другу М. А. Максимовичу летом 1834 года: “Ради Бога, не предавайся грустным мыслям, будь весел, как весел теперь я, решивший, что всё на свете трын-трава”. Эти слова как будто взяты у философа Хомы. А в марте 1835 года, вскоре после выхода в свет этой повести, Гоголь в письме тому же адресату просто изложил жизненную философию, под которой мог бы подписаться и Хома и которая, по-видимому, была симпатична самому Гоголю: “Мы никак не привыкнем (особенно ты) глядеть на жизнь, как на трын-траву, как всегда глядел козак. Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате трепака?”.

Всё это – и обыкновенность Хомы, и сочувственное изображение его автором – вызывает к нему особенную симпатию читателей – просто симпатию, не смешанную с жалостью (как к Башмачкину, или Поприщину, или к старосветским помещикам). Редкое чувство читателя по отношению к персонажам Гоголя. Эту особенность героя сразу же заметил В. Г. Белинский. В статье “О русской повести и повестях Гоголя”, напечатанной в журнале “Телескоп” в конце 1835 года, он написал об этом персонаже сочувственно и восхищенно: “О несравненный *dominus!* Хома! как ты велик в своем стоическом равнодушии ко всему земному, кроме горелки! Ты натерпелся горя и страху, ты чуть не попался в когти к чертям, но ты всё забываешь за широкою и глубокою эндою, на дне которой схоронена твоя храбрость и твоя философия; ты, на вопрос о виденных тобою страстях, машешь рукою и говоришь: “Много на свете всякой дряни водится!”; у тебя половина головы поседела в одну ночь, а ты оттопываешь трепака, да так, что добрые люди, смотря на тебя, плюют и восклицают: “Вот это как долго танцует человек!”.

Хома и фаталист отчасти. Например, он хладнокровно, стоически относится к нередко случающимся в бурсе экзекуциям за различные провинности – ко всему тому “крупному гороху” (телесным наказаниям), который на него сыпется, и говорит при этом: “Чему быть, того не миновать”. Такой вот он простонародный, стихийный философ-стоик. Эту черту в нем особенно отмечал Белинский, подчеркивая, что Хома “философ не по одному классу семинарии, но философ по духу, по характеру, по взгляду на жизнь”. Напомню, что словами “философия”, “риторика”, “богословие” назывались определенные классы семинарии. Попутчики Хомы, вместе с которыми он попал в дом ведьмы, учились: один – классом ниже (ритор Тиберий Горобец), другой – классом выше (богослов Халява).

Стоически Хома, надо признать, вынес свои испытания, доставшиеся на его долю, свой крест. Не обольстился полетом над землей, позволявшим видеть землю в необычном, сказочном, заманчивом виде. Не побоялся восстать на нечистую силу. Правда, приятели Хомы Горобец и Халява в финале повести сочли, что он испугался, потому и погиб. Горобец говорит: “А я знаю, почему пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, ты бы ведьма ничего не могла с ним сделать”. Нередко в литературоведении встречается такой же тезис – о том, что слишком Хома испугался, поэтому не устоял перед Ви-ем и в результате – погиб: “Жить бы да жить философу Хоме Бруту. Но нет! Поддался вражьей силе, не устоял перед страхами – и погиб”² (В. В. Ермилов); “Хома смалодушничал, не проявил ни ловкости, ни силы”³ (А. М. Докусов); “Страх сковал его (Хомы. – И. М.) волю, его разум”⁴ (М. С. Гус). “Смертью сильного человека от страха”⁵ назвал трагедию Хомы И. Ф. Анненский. С. И. Машинский отметил: “Конечно, смешно соображение Горобца о том, что надо было плюнуть на хвост ведьме. А вот касательно того, что Хома побоялся, – это всерьез. Именно здесь зерно гоголевской мысли. (...) У него не хватило мужества, его одолел страх. И он пал жертвой ведьмы”⁶.

Но вовсе не в этом заключается “зерно гоголевской мысли”. О страхе как о причине смерти Хомы в повести говорит не автор, а ее персонаж – Горобец, который мог знать о произошедшем только понаслышке. Автор же, описывая последние минуты жизни главного героя, делает акцент не на страхе, а на решающем поступке Хомы: “Не вытерпел он и глянул”. “Не вытерпел” – это не значит “испугался”.

О страхе же говорится далее в таком контексте: “Вот он!” закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный, грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от

страха". Но понятно, что от самого по себе страха погибнуть невозможно, однако можно умереть от сильного нервного потрясения, то есть, говоря современным языком, — от шока. Вот такой сильнейший шок и подразумевается здесь под словом "страх". Это нечто, что происходит с Хомой, его физическим состоянием, произвольно, под влиянием внешних обстоятельств, — как бы дань несовершенной человеческой природе, которой свойственны естественные слабости. Но **поступок** Хома — совершенно другой. Его собственное **действие** противоположно свойственным ему обычным человеческим слабостям: "не вытерпел он и глянул" — фактически став выше своего страха. И именно этот **поступок** (а не переживаемое им чувство страха) стал в конечном счете причиной гибели Хома. Когда он, взглянув на Вия, обнаружил себя и вся нечисть смогла на него напасть, то у него уже не было шансов выжить в такой ситуации (в любом случае — со страхом или без страха). Ведь ведьма стремилась не испугать Хома, а погубить, и пришедшая к ней на помощь вся нечистая сила накинута на философа с такой же целью. Таким образом, говорить о страхе как причине гибели Хома Брута не приходится.

В последний момент Хома по существу сделал самый важный в своей жизни выбор — скорее интуитивно, чем осознанно. Выбор был такой: послушаться заботливого внутреннего голоса, которым, наверное, говорило чувство самосохранения ("Не гляди!"), спрятаться от врагов и таким образом спасти себя — или принять вызов и сразиться с ними, рискуя жизнью. И Хома в самый последний момент "не вытерпел". По существу, "не вытерпел" прятаться от своего злейшего врага и решил, таким образом, принять бой. Мог ли он в это краткое мгновение придти к этому решению осознанно? Вряд ли — не было времени для обдумывания. Это было невольное, интуитивное решение — по велению самой природы этого человека — философа Хома, который говорил о себе: "Да и что я за козак, когда бы уstraшилса".

Как отмечает В. А. Зарецкий, "герой гибнет, потому что в отношении к миру возвысился над нормами, которые диктует обыденность. (...) Между тем прежним его друзьям непонятны ни состояние Хома, ни действительная причина его гибели"⁷. Весьма точно обозначает тему повести "Вий" И. А. Виноградов: "Теме духовной брани, намеченной в "Тарасе Бульбе", непосредственно посвящена повесть "Вий"⁸. Но совершенно нельзя согласиться с выводом И. А. Виноградова о поражении героя повести в этой духовной брани: "В своем "житии" семинарист-философ Хома Брут может быть соотнесен со святыми подвижниками только отрицательно — он изображает собой именно неисполнение положенных заповедей, чем в повести и объясняется его поражение"⁹.

Что касается "соотнесения со святыми подвижниками", то следует заметить, что очень многие (а не только Хома Брут) не выиграли бы при таком сравнении. А тезис о поражении Хома вообще не соответствует содержанию повести. Гибель героя (его **физическая** гибель) вовсе не означает его поражения, если речь идет о **духовной** брани. Погибли и многие мученики за веру, те самые "святые подвижники", с которыми соотнесена жизнь Хома. Погибли и многие апостолы Христа, в том числе и святой Фома — небесный покровитель бурсака Хома. И мученическая кончина Хома, противостоявшего целой толпе всякой нечисти, при всей трагичности этой развязки, говорит не о его поражении, а о том, что он, в сущности, остался верен себе — христианину. Ведь он этой нечистой силе до конца противостоял и вовсе не собирался ей подчиняться, за что собственно и был ею уничтожен.

При всех своих грехах и недостатках он был прав в главном — не обольстился ни самой ведьмой, ни волшебным миром, который она перед ним открыла во время ночного полета. Как бы ни была притягательна красота этого мира, Хома с молитвой обратился к Богу за помощью против этого волшебного обольщения: "Изнеможенный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал, молитвы. Он перебирал все заклатья против духов и вдруг почувствовал какое-то освежение; чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, ведьма как-то слабее держалась на спине его".

Как известно, даже праведность человека не обязательно сопровождается его успехом (в обыденном, житейском понимании этого слова) в его земной жизни. Что уж говорить о человеке весьма обыкновенном, грешном, каков Хома, каковы, впрочем, многие. Может быть, в тех условиях, в которых он оказался (лицом к лицу с могущественными силами потустороннего мира)

единственно возможной для него победой и могла быть эта верность своей сущности, своей христианской вере. Но и этим не ограничилась победа главного героя повести. Если беспристрастно взглянуть на ее сюжет, мы увидим, что в финале не только Хома погиб, но одновременно сгнули и несметные полчища различных чудовищ, включая ведьму. Набросившись на Хому, они не заметили первого крика петуха и не успели вовремя исчезнуть, поэтому и увязли навсегда в дверях и окнах церкви. Получается, что Хома, погибнув, уничтожил тем самым огромное скопище врагов (не только своих личных, но и врагов человека вообще). О каком же “поражении” тут можно говорить?

Да, Хома – “пошлый”, грешный человек, далекий от святой жизни. Но этот “маленький” человек, столкнувшись с могущественным врагом, нашел в себе силы остаться самим собой и даже, в меру своих сил, победить, – словом, внести свою посильную лепту в дело непрекращающейся духовной брани. Поэтому прочитавший повесть читатель вряд ли согласится с мнением богослова Халявы, что Хома “пропал ни за что”. Вспомним и то, что, как сказано в Евангелии, “на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девятистах девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии”. Путь Хомы Брута – это, по существу, путь грешника к покаянию (путь сложный, страшный, вовсе не благостный) и одновременно путь “маленького”, “бытового”, “пошлого” человека к себе – герою, к раскрытию своей глубоко спрятанной в душе героической сущности.

В сборнике “Миргород”, где впервые была напечатана повесть “Вий”, она следовала сразу же после повести “Тарас Бульба”. В такой же последовательности и близком соседстве расположены эти произведения и в рукописи Гоголя. Десятилетия, а может быть, и столетия разделяют героев этих повестей. Действие “Тараса Бульбы” происходит, по-видимому, в XV или XVI веке. Время действия “Вия” еще более неопределенно – это может быть и XVII, и XVIII, и начало XIX века. По мнению В. А. Зарецкого, “действие повести совершается в самом конце XVII или в начале XVIII века. Для этого времени сочетание в одном лице казака и крепостного человека отнюдь не было странным”¹⁰. Таковыми были люди сотника, которых он прислал за Хомой в семинарию и которые потом за ним следили, чтобы он не сбежал с хутора. На XIX век указывает то, что в “Вие” упоминается Киевская семинария, которая была открыта в 1817 году – преобразована из бывшей Киевской академии. Из этого можно сделать вывод, что, как бы различные детали и общий колорит “Вия” ни отдаляли его действие от современности и ни относили его к прошлому, но сознательно или неосознанно оставленная Гоголем в тексте “актуальная” подробность (упоминание о семинарии) не позволяет все-таки полностью оторвать его содержание от близкого автору времени.

Лихие запорожские казаки, “православные рыцари” вроде Тараса Бульбы – далекие предки философа Хомы Брута. А сыновья Тараса Бульбы в самом начале повести приезжают в родной дом из той же самой Киевской семинарии (академии), закончив там обучение. Не случайно Хома подчеркивает, что он казак и, значит, ничего не должен бояться. Особенно заметно это сходство на фоне следующей повести “Миргорода” – “Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”. Ее герои – формально тоже далекие потомки запорожских казаков, но в них уже (в отличие от Хомы Брута) никакого отголоска бурной жизни “православных рыцарей” нет. “Если в Сечи – свобода, равенство и братство, то в Миргороде Довгочхуна – “поклонничество”, гнусное царство бюрократии, кляззы суда, общество, деленное условными различиями мелких социальных делений, – и отсюда эгоизм, “мышьяная натура” у людей, рожденных для высоких дел”¹¹, – писал Г. А. Гукковский. Сравнивая времена, изображенные в этих трех повестях, В. А. Зарецкий отметил, что “самый момент перехода от героического века к веку раздробленному запечатлен в личности Хомы Брута”¹². В казаках же, служащих сотнику – отцу ведьмы, этот переходный момент отразился другим образом: “Беспамятство, полная отрешенность от прошлого еще не овладели этими людьми, но овладевают”¹³.

Однако не столько переходный момент времени здесь имеет значение, сколько избранность среди многих, живущих в одно и то же время, конкретного человека – Хомы Брута, на которого ополчилась нечистая сила. Это обстоятельство – вне времени. Неслучайно время действия “Вия” так неопределенно, размыто, и нет никакого точного указания на временные координаты.

Дело здесь не столько во времени, сколько в самом человеке. Обыкновенный парень Хома, имеющий, бесспорно, свои недостатки и слабости, в самый страшный момент как бы переродился. В нем вдруг “проснулся” на мгновение “православный рыцарь” наподобие Тараса Бульбы и его товарищей. Хома в конце концов воспринял нечистую силу в своей судьбе не как природное стихийное бедствие, от которого нужно спрятаться, чтобы выжить, а как врагов, с которыми нужно сражаться, несмотря на неравные силы. Сражался, правда, Хома с ведьмой и при первой встрече с ней, но тогда превосходство ее сил не было так явно видно. Ему могло показаться, что ведьма — это равный противник и можно, побив ее, справиться с ней. И он вроде бы не рисковал, сражаясь с нею. Другое дело, когда последней ночью в церкви он увидел явный перевес сил на стороне противостоящей ему нечисти. Не скрыться от нее, а обнаружить себя и, значит, принять удар на себя, в тот раз означало неминуемо погибнуть.

Здесь выражена очень дорогая Гоголю мысль о том, что жизнь — это битва со злом. Позже он писал в книге “Выбранные места из переписки с друзьями”: “Вспомни: призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований. На битву мы сюда призваны; праздновать же победу будем там. А потому ни на миг мы не должны позабывать, что вышли на битву, и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей: как добрый воин, должен бросаться из нас всяк туда, где жарче битва. Всех нас озирает свыше Небесный Полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от Его взора. Не уклоняйся же от поля сраженья, а, выступивши на сражение, не ищи неприятеля бессильного, но сильного”.

Таким образом, Хома Брут и в этом отношении — по существу, очень близкий Гоголю герой, выразивший своей трагической судьбой заветные идеи самого Гоголя. Он хотя и без высоких слов и вообще без каких-либо рассуждений, но действительно в последний момент **вспомнил**, непосредственно, всем своим существом, о чем-то самом важном, что важнее многих сиюминутных обстоятельств, и это вдруг придало всей его жизни важный смысл. Сколько таких же, как он, “философов” и прочих местных людей он избавил от той нечисти, которая сгнула одновременно с ним в третью ночь в церкви! Вот такой простой и в то же время великий смысл обрела вдруг судьба обычного безродного бурсака, любителя выпить и сплясать и в то же время, по выражению И. Ф. Анненского, “интеллигента, вышедшего из среды Вакул и Оксан”¹⁴.

Идея такой борьбы в его жизни (борьбы пошлости и героизма) выражена в двойственности его имени. О соединении в его имени простонародного “Хома” и героического легендарного “Брута” не раз писали исследователи. К этому нужно добавить и еще один, третий аспект — имя его небесного покровителя — святого Фомы. В соответствии с этими тремя именами и следует рассматривать личность и жизнь Хома — как бы в трех измерениях. Он — простонародный герой (один из самых простонародных персонажей у Гоголя), он — подобно апостолу Фоме подвергнут особенно пристрастному испытанию его веры (как известно из Евангелия, когда воскресший Христос явился своим ученикам, Фома отсутствовал, и ему оставалось только *верить* в воскресение Христа, в то время как другие ученики *видели* это своими глазами), и он — в конце повести по воле судьбы приобретает отчасти героические черты, так как ему пришлось непосредственно сразиться с нечистой силой. И погиб он как настоящий народный герой: избавив людей от многочисленной нечисти и “положив жизнь за други своя”. Он не снискал себе ни благодарности, ни славы, а лишь остался в глубине народной памяти, просто превратившись в легенду. Такова судьба народного героя. Можно заметить, что такова, символически, судьба и народа. Так же, как народный герой, и народ приходит ниоткуда (неизвестно откуда), совершает подвиг своей жизни и уходит в никуда (неизвестно куда), оставаясь потом только в легенде, в предании. Таким образом, в судьбе героя, как океан в капле воды, отражена судьба всего народа.

Не для того ли и упоминается в эпиграфе к повести некое народное предание, которое якобы “в простоте” рассказано автором, чтобы обратить внимание читателя на то, что Хома как настоящий народный герой остался жить в легенде и что есть такая легенда, где он живет? Ведь точно такой легенды не существует (в народных преданиях есть лишь некоторые детали, напоминающие сюжет “Вия”), и трудно иначе объяснить, зачем собственно Гоголю понадобилось поместить именно в этой повести такой эпиграф. Нет же подобных эпиграфов в повестях “Вечеров...”, которые все тоже имеют фольклорные корни.

Вообще «Вий» – единственное в творчестве Гоголя произведение, которое, в сущности, так близко к «Тарасу Бульбе» по своей глубинной мысли и четкой трагической ноте, звучащей не только наравне с комической, но даже преобладающей. Никакое другое произведение, как «Вий», не свидетельствует наряду с «Тарасом Бульбой» о том, что Гоголь – не только комик, но и трагик. Во время действия повести «Вий» ее главный персонаж шаг за шагом идет от себя – «пошлого», «бытового» человека к себе – герою. Пусть он по-прежнему пьет горилку, волочится за молодками и пускается в пляс, но это только видимость прежнего Хома. Внутренне он уже далеко от всего этого: грозящая опасность постоянно возвращает его мысли к вопросу жизни и смерти, исподволь делая из него другого человека. Постепенно с него, как шелуха, спадают «бытовые», «пошлые» черты, и читателю просто наглядно видно, как он шаг за шагом, день за днем, ночь за ночью восходит, подобно Тарасу Бульбе, на свой костер. Хотя Хома, в отличие от Тараса, не врался в бой, а наоборот, весь свой путь пытался избежать опасности, вернуться в прежнюю «бытовую» жизнь, надеялся чудесным образом укрыться в нарисованном круге, но в последнюю ночь, под взглядом Вия, в нем возникло движение совершенно противоположное. Подобно тому, как Тарас Бульба в какой-то момент понял, что не может до конца дней сидеть среди кухонных горшков и только лишь заниматься хозяйством, так и Хома в последний миг почувствовал, что для него тесен мир внутри спасительного круга, тесна роль только лишь «бытового» человека. И по этому поводу можно сказать, что судьба сделала его жертвой, а можно сказать, что она дала ему возможность совершить подвиг (такой подвиг, к которому Тарас Бульба сам стремился).

Сравнение «Вия» и «Тараса Бульбы» и, прежде всего, главных героев этих повестей приводит еще Белинский, написавший об этих произведениях вскоре после их первой публикации. Причем в этом сравнении подчеркивалось их сходство в их лучших качествах – бесстрашии, хладнокровном отношении к опасностям. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» Белинский отметил сходство героев двух «соседних» повестей «Миргорода» – «богатыря Бульбы, который не боялся ничего в свете, с люлькою в зубах и саблюю в руках», и «стоического философа Хома, который не боялся ничего в свете, даже чертей и ведьм, когда у него люлька в зубах и рюмка в руках».

Повесть «Вий» – это «Тарас Бульба» в миниатюре. Тема у них одна – героическое в человеке. И сюжет, по существу, схож – путь человека к себе – истинному, к себе – герою. Но масштаб разный. Если «Тарас Бульба» – это эпическое полотно, как бы полифоническая симфония, то «Вий» – камерное сочинение, где единственный герой выступает со своим единственным мотивом. Герои «Тараса Бульбы» подобны былинным богатырям, они далеки от читателя (как сегодняшнего, так и гоголевского времени). Более того – они отделены от читателя какой-то непроходимой пропастью, и сам Гоголь о них сказал: «Увы, прошедшая жизнь и, увы, прошедшие люди». Они как будто «сделаны из другого теста», чем наши (и гоголевские) современники. Таковы персонажи героического эпоса – люди больших страстей и невиданной силы духа. Мы не знаем, как они стали такими и почему. А в «Вие» тот же, по существу, герой увиден автором с другой стороны, в другом ракурсе – бытовым. Мы видим здесь то, чего нет в «Тарасе Бульбе», – путь *обыкновенного* (не сказочного, а «бытового» и, может быть, «пошлого») человека к подвигу, то есть, по существу, его путь к самому себе – герою. Читая о героях «Тараса Бульбы», мы можем подумать: «Как они далеки от нас!». А читая о Хоме Бруте, мы видим, что этот персонаж – один из нас, он, в сущности, такой же, как мы.

Повесть «Вий», на первый взгляд, «примыкающая» к «Вечерам на хуторе близ Диканьки» по своей тематике, отстоит от них по времени существенно. И дело даже не столько в количестве прошедших лет, сколько в пройденном Гоголем за это время творческом пути. Уже было написано после «Вечеров» несколько повестей: «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Портрет», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Старосветские помещики», «Тарас Бульба». И в этих произведениях Гоголь, кажется, далеко и безвозвратно ушел от юношеской романтики «Вечеров», от их необыкновенной энергетике, подобной вешнему разливу рек. Река гоголевского таланта входила в бегеи четкие и строгие берега. Любая из перечисленных повестей говорит об этом. Кажется, между «Сорочинской ярмаркой» и «Невским проспектом» – большое расстояние. А ведь «Вий» написан еще позже.

В дальнейшем (после “Вия” были написаны “Мертвые души”, “Шинель”, драматические произведения) мысль о враге человека, стремящемся его погубить и толкающем его на порочные мысли и поступки, хотя и осталась, но как бы растворилась в контексте, в художественной ткани произведений.

Трагическая тональность “Вия” связана не только с гибелью героя, но еще и с тем, что автор здесь несколько иначе пишет о теневой стороне жизни, чем в “Вечерах”, — с точки зрения человека, более зрелого и понявшего всю сложность взаимодействия человека и враждебных ему сил. Общей, символической метафорой этого могло бы служить то сложное впечатление, которое произвело на Хому лицо панночки, в которое он впервые пристально взгляделся, зайдя в дом сотника, где она уже лежала в гробу. Здесь одновременно возникли восхищение и любование ее красотой и горькая, тяжелая нота, разрушающая эту гармонию, подобно тому, как нарушает веселье унылая песня. И не просто унылая, которая может означать лишь легкую печаль, а “песнь об угнетенном народе” — то есть мрачная диссонансирующая нота, за которой многое скрывается и в связи с которой обо многом умалчивается:

“Трепет побежал по его жилам; пред ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая. Чело прекрасное, нежное как снег, как серебро, казалось, мыслило; брови — ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний; уста — рубины, готовые усмехнуться... Но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно-пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровью к самому сердцу. Вдруг что-то страшно-знакомое показалось в лице ее. “Ведьма!” — вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы; это была та самая ведьма, которую убил он”.

И если своеобразным итогом борьбы человека с потусторонней тьмой в конце “Вечеров” стала победа над чертом с помощью святого креста, а значит — веры, то в “Вие” всё гораздо сложнее — здесь силы примерно равны. В “Вие” природный оптимизм Хомы и его могучая жажда жизни уравновешиваются столь же великой жаждой зла и ущерба людям, исходящей от ведьмы и всей остальной нечисти. “Вихрь веселья” уравновешивается “песней об угнетенном народе”. Оптимистического финала не получается, несмотря на столь безмятежную уверенность бурсака Горобца в легкости победы над ведьмой: “Нужно только перекрестившись плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет”.

Что в истории “взаимоотношений” (если это так можно назвать) Хомы и ведьмы особенного, чего не было в подобных сюжетах в “Вечерах”? По-видимому, то, как серьезно и основательно Гоголь описывает психологическое состояние Хомы, встретившегося не только с ведьмой, но одновременно и с целым миром неземной волшебной красоты, предназначенной для обольщения человека. А точнее — какие серьезные и основательные психологические корни пускают в душе Хомы эти “взаимоотношения”. Хома, летая над землей по воле ведьмы, не сразу опомнился, не сразу стал твердить молитвы, которые помогли ему вернуться на землю и справиться с ней. Сначала он увидел с высоты своего полета чарующую картину мира — но не такого, каким его может увидеть всякий человек, а такого, какой доступен только человеку, вошедшему в мир волшебства, переступившему заветную черту. Столь пронзительного описания волшебных чар, ввергающих человека в огромный соблазн искренне подчиниться невероятной красоте потустороннего мира, у Голя, наверно, нет нигде в других произведениях:

“Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — всё, казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятым всадником на спине. — Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз

и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверху ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухой. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пенем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось — и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали перед солнцем по краям своей белой, эластически-нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде... Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит и вьется, и подступает и вонзается в душу какую-то нестерпимую трелью... “Что это?” думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски-сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него, и он со страхом хватался за него рукою”.

Не это ли обольщение красотой волшебного мира и самой панночки-ведьмы (как его части) мешало другим ее жертвам противостоять ей, а значит, противостоять и вообще нечистой силе и ее влиянию на человека? Ведь у Хома было много предшественников. И никто из них с ведьмой не сражался, никто не взял на себя такого подвига, какой пришлось выполнить Хоме. Например, казак Дорош сам признался: “Да она на мне самом ездила. Ей богу, ездила”. Другой казак — псарь Микита подвергся еще более сильным чарам и в результате превратился в кучу золы, “сгорел сам собою”. И хотя подобные истории рассказываются в повести очень кратко, но сущность их та же, что и в случае с Хомой, об истории “отношений” которого с ведьмой написано подробно, исчерпывающе. И уже ясно, как происходит, в сущности, обольщение, каким образом нечистая сила цепляется к человеку, проникает в его душу.

По истории обольщения, подробно описанной в случае с Хомой, видно, как глубоко в человеке укоренены возможности дружбы с миром зла, с лукавым, и как велики земные прелести такой дружбы, и как трудно многим бороться с этой силой, и как много тех, кто борется с ней и не собирается. Причем эти возможности связи с миром зла и чувства человека от соприкосновения с обольстительной стороной этого мира так сложны, что никак нельзя свести их к чему-то одному, например, эротическим побуждениям. Но почему-то мысль о страсти Хома к ведьме, не имеющая никакого основания в тексте повести, довольно популярна среди исследователей творчества Гоголя: “Вий” — самое эротическое из всех произведений Гоголя. И псарь Микита, и Хома околдованы “чарой”, они горят темным, гибельным огнем сладострастия. То, что они испытывают, не любовь, а дьявольское наваждение похоти”¹⁵ (К. В. Мочульский); “Ее (панночки. — И. М.) порочная, чувственная красота заставляет испытывать “философа” “томительное” и “сладкое” чувство, “томительно-страшное наслаждение”¹⁶ (Н. Л. Степанов).

С этим вряд ли можно согласиться. Невозможно свести всё сложное сочетание чувств Хома только к “наваждению похоти”. Тем более что во время полета, когда Хома вдруг испытал неведомые чувства, безобразная старуха еще не превратилась в красавицу. Он впервые увидел лицо преобразившейся ведьмы, только когда она уже упала на землю, после того, как Хома стал колотить ее первым попавшимся поленом, чтобы прекратить этот ужасный полет. Тогда от вида ее идеальной красоты Хома оробел, смутился и бежал прочь. Упомянутое “томительно-страшное наслаждение” относилось к пребыванию Хома в необыкновенном, волшебном мире, а не к ведьме, которая в тот момент оставалась еще в облике страшной старухи. Именно избиение ведьмы, которая потом за это стремилась сжить со света Хома, и привело его к трагическому концу, а вовсе не страсть к ней. Да и зачем бы он стал сражаться с ведьмой, если бы испытывал к ней страсть? Не воевал же с ведьмой влюбленный в нее Микита.

Таким образом, оба упрека Хоме — и в “особой порочности”, и в плотской “страсти” к ведьме — несостоятельны. Загадка — почему трагический выбор пал на Хому — остается загадкой, и полное ее разрешение возможно было бы, наверное, лишь в том случае, если можно было объяснить вообще закономерность выбора жертвы, на долю которой выпадает почему-то особенно трагическая судьба. Эта закономерность, кажется, никогда не была объяснена, и никто вроде бы и не берется всерьез некими логическими построениями дать исчерпывающее объяснение тому, каким образом из всей массы людей выбираются те, на долю которых выпадают трагические случайности, обрывающие их жизни в цветущем возрасте. Понятно, что вообще несчастья людей происходят от их грехов. Но почему при этом люди, примерно одинаковые по своим грехам, имеют иногда столь разные судьбы — один живет долго и благополучно, другой — вдруг в расцвете лет погибает? Более того, иногда в расцвете лет погибает как раз тот, кто менее порочен, чем многие другие.

Такова недоступная пониманию человека логика выбора судьбой жертвы из всей массы народа, о которой (логике) можно было бы сказать: “тайна сия велика есть”. Почему же, не претендуя на разгадку этой тайны вообще (что было бы явно невозможным делом), так запросто пытаются объяснить эту же тайну в ее конкретном проявлении — в повести Гоголя “Вий”? Собственно, эта тайна — одна из тем повести. Это один из тех моментов, которые притягивают внимание к этому произведению и делают его столь загадочным и непостижимым. Гоголь отчасти объясняет, почему человек (один из всех) выбирается жертвой нечистой силы и вообще злого рока, а отчасти оставляет это загадкой, тем самым напоминая читателю о непостижимой тайне этого выбора — одной из самых тревожных тайн нашей земной жизни.

Можно понять, почему из троих бурсаков выбор ведьмы пал на Хому — потому что он больше всех испугался ночевать в поле и стремился найти крышу над головой. Этот выбор одного из трех — еще можно объяснить. Но выбор одного из многих-многих подобных — невозможно. Не может быть подменена живая тайна какой-либо схемой. Присутствием этой живой тайны в произведении Гоголя, в частности, живо и само произведение. Каким образом из многих людей именно тот, а не другой становится жертвой? Повесть Гоголя и об этом.

Например, язычество подразумевало принесение жертв богам, в том числе человеческих. Но эти люди выбирались жертвами вовсе не по принципу “как можно хуже”, то есть не самые порочные или не самые грешные, а скорее наоборот — самые чистые и непорочные. И в то же время понятно, что чем больше грехов и пороков имеет общество в целом, тем более оно обречено на возникновение в нем жертв. Вот так всё запутано: чем больше пороков, тем больше жертв, которыми становятся совсем не обязательно самые порочные люди. В повести “Вий” времена, конечно, изображены совсем не языческие, а христианские — при чем тут, казалось бы, жертвы? Но христианской там все-таки является в основном вера, а жизнь вполне христианской — не назовешь. И вот поскольку она еще далека от христианской, постольку и возникает в ней неизбежность таких жертв, какой стал, в частности, Хома.

На первый взгляд, парадоксальной кажется тщетность всех усилий Хомы спастись от нечистой силы. Но если учесть, что у нее так много помощников, то гибель Хомы уже не представляется неожиданной, а скорее кажется закономерной. Кем же надо быть и каким надо быть, чтобы противостоять одновременно и самой нечистой силе, и помогающим ей людям! Кто бы мог всё это преодолеть? Может быть, только святой. А молитв и заклинаний, которым научил Хому “один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов”, по-видимому, для этого было совершенно недостаточно.

Философ Хома, хоть на минуту смутившись, поколебавшись в своей вере, обречен был столкнуться с нечистой силой и пойти по пути подчинения ей — или борьбы, подвига. А более безмятежный душой богослов Халява, более твердый верой (хотя он об этом, наверное, не задумывался), просто не дал возможности нечистой силе прицепиться к нему. И вот он в финале повести становится звонарем колокольни и радуется, видимо, христианский народ своим колокольным искусством по мере сил. Вспоминаются слова из Евангелия: “Милости хочу, а не жертвы”. Не было бы маловерия, не нужны были бы и жертвы. Было бы больше веры, а значит, и больше милости, не нашла бы к чему прицепиться в человеке нечистая сила.

Лет через 12 после создания “Вия” тема “страхов и ужасов” вновь возникла в творчестве Гоголя — теперь уже совсем под другим углом зрения. “Страхи и ужасы России” — так назвал Гоголь одну из глав книги “Выбранные места из переписки с друзьями”. Отвечая на письмо своей знакомой (“графиня . . .ской”), полное тревожных и, может быть, даже панических настроений, Гоголь написал:

“В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасенью, и слава Богу, что эти страхи наступили теперь, а не позже. Ваши слова: “все падают духом, как бы в ожиданьи чего-то неизбежного”, равно как и слова: “каждый думает только о спасении личных выгод, о сохранении собственной пользы, точно, как на поле сражения после потерянной битвы всякий думает только о спасении жизни: *sauve qui peut*”¹⁷, действительно справедливы; так оно теперь действительно есть; так быть должно: так повелел Бог, чтобы оно было. Всяк должен подумать теперь о себе, именно о своем собственном спасении. Но настал другой род спасенья. Не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасти себя самого в самом сердце государства. На корабле своей должности и службы должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика Небесного. (...) Нужно помнить только то, что ради Христа взята должность, а потому должна быть и выполнена так, как повелел Христос, а не кто другой. Только одним этим средством и может всяк из нас теперь спастись”.

Такой простой, ясный совет. Такие спокойные, рассудительные слова. Но несмотря на это, то самое глубинное, подспудное ощущение тревоги и ужаса, о котором писала “графиня . . .ская”, заключено в этой книге, рассказывающей о судьбе России не в меньшей степени, чем в повести “Вий”. Интересно, что спустя несколько десятилетий эта тревожная нота, звучащая в “Выбранных местах”, нашла чуткий отклик в другой эпохе у другого поэта — А. А. Блока. “В минуты роковые”, в январе 1918 года, он отметил в своей записной книжке: “Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь (чтобы заглушить его — призывы к порядку семейному и православию)”. Так продолжилась и отозвалась дальним эхом тема страхов и ужасов у Гоголя, нашедшая самое яркое воплощение в повести “Вий”.

Примечания:

¹ господин (лат.).

² Ермилов В. В. Гений Гоголя. М., 1959. С. 100.

³ Докусов А. М. “Миргород” Н. В. Гоголя. Л., 1971. С. 78.

⁴ Гус М. С. Живая Россия и “Мертвые души”. М., 1981. С. 149.

⁵ Анненский И. Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 214.

⁶ Машинский С. И. Художественный мир Гоголя. М., 1979. С. 82.

⁷ Зарецкий В. А. Народные исторические предания в творчестве Н. В. Гоголя. Екатеринбург—Стерлитамак, 1999. С. 292.

⁸ Виноградов И. А. Гоголь — художник и мыслитель: христианские основы мирозерцания. М., 2000. С. 151.

⁹ Виноградов И. А. Указ. соч. С. 153.

¹⁰ Зарецкий В. А. Указ. соч. С. 25.

¹¹ Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.-Л., 1959. С. 163.

¹² Зарецкий В. А. Указ. соч. С. 441.

¹³ Зарецкий В. А. Указ. соч. С. 26.

¹⁴ Анненский И. Ф. Указ. соч. С. 221.

¹⁵ Мочульский К. В. Духовный путь Гоголя. М., 2004. С. 27.

¹⁶ Степанов Н. Л. Н. В. Гоголь. М., 1959. С. 164.

¹⁷ спасайся, кто может (франц.).